



МАРК ХАРИТОНОВ  
УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

Марк Харитонов

**Увидеть больше (сборник)**

«WebKniga»

2012

## **Харитонов М. С.**

Увидеть больше (сборник) / М. С. Харитонов — «WebKniga», 2012

Новый роман Марка Харитонova читается как увлекательный интеллектуальный детектив, чем-то близкий его букеровскому роману «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Герой-писатель пытается проникнуть в судьбу отца, от которого не осталось почти ничего, а то, что осталось, требует перепроверки. Надежда порой не столько на свидетельства, на документы, сколько на работу творящего воображения, которое может быть достоверней видимостей. «Увидеть больше, чем показывают» – способность, которая дается немногим, она требует напряжения, душевной работы. И достоверность возникающего понимания одновременно определяет реальный ход жизни. Воображение открывает подлинную реальность – если оно доброкачественно, произвольная фантазия может обернуться подменой, поражением, бедой. Так новая мифология, историческая, национальная, порождает кровавые столкновения. Герои повести «Узел жизни», как и герои романа, переживают события, которые оказываются для них поворотными, ключевыми. «Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия», – Осип Мандельштам сказал как будто о них.

# Содержание

УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
1. Здесь кто-то мертвый	5
2. Grimасы воображения	7
3. Свой воздух	10
4. Вообразите меня	11
5. Тела из чулана	13
6. Ученик чародея	16
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Марк Харитонов

## Увидеть больше (сборник)

### УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

*роман*

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

##### 1. Здесь кто-то мертвый

Как всегда в утренние часы, вагон метро был переполнен. Борис с трудом втиснулся в дверь, сзади на него надавили еще. «Проходите, другим тоже надо ехать», – началась ритуальная переключка. «Если б было куда». – «Там дальше полно свободного места». Створки за спиной сошлись, поезд, дрогнув, тронулся. Вошедшие понемногу умялись – упорядочились, совместились частицы. Борис приподнялся на цыпочки, посмотрел вверх голов. В середине вагона действительно было пусто. Откинувшись к стене и развалившись сразу на двух сиденьях, там спала тучная, дурно одетая женщина. Рот ее был приоткрыт, нечесанные седоватые космы выбивались из-под пятнистой косынки, под глазом темнел синяк. Только тут Борис ощутил неприятный запах, это он высвобождал вокруг нее пространство, отталкивая людей в тесноту.

– Пропустите слепого... дайте мне сесть, – требовал вошедший перед Борисом шуплый мужчина. Из-за низкого роста ему приходилось говорить в чью-то спину, голос звучал придуманно. Плотные сжатые тела непонятным образом сумели перегруппироваться, слепец продвинулся вперед, втягивая за собой Бориса.

– Почему таких пускают в метро? – вычленялось из механического гула.

– Я ее тут второй раз вижу.

– Чем от нее несет?

– Вчера на том же месте сидела, я видела.

– Катается по кольцу, отсыпается.

– И никто не высадит.

Слепец, как маленький ледокол, протискивался перед Борисом дальше, наконец, палкой нащупал перед собой пустоту – и вдруг остановился.

– Здесь кто-то мертвый, – проговорил отчетливо.

На мгновение все умолкло, переваривая сказанное. Потом раздался сдавленный женский вскрик.

– Мертвый?

– Она мертвая!

– Вчера на том же месте сидела.

– Почему не высадили?

– Она тут и на прошлой неделе сидела.

– Надо же сказать.

– Что там? – переспрашивали на отдалении.

– Нажмите кнопку, вот там, скажите машинисту.

– Остановите поезд!

– Что?!

Борис ухватился за блестящую перекладину. Бледные, неясные лица, покачиваясь, смотрели впадинами невидящих глаз из-за черного стекла, из подвижной мерцающей темноты в затылок мертвому телу, мчась вместе с ним под землей, по кольцу без конца; одно из лиц было его собственным. Голоса растворялись в равномерном потряхивании. Слепой почувствовал, понял. Он один. Не видеть, закрыть глаза, чтобы дошло...

\* \* \*

Перестук, утробный гул, повизгивание, скулеж, и вот уже вой оставшихся без божества, голодных, непонимающих, брошенных взаперти. Щенка, совсем маленького, голые уши-блинчики, надо было отбить у бомжей, а то бы съели. Всем надо есть, но бомжей хоть кормят в специальных столовых, а этим, своим, не довезла корм на неделю, раздутая клетчатая сумка у ног. Тоскливые, потерянные, ожидающие, безумные глаза, им не вообразить смерть божества и что сейчас к ним ворвется, взломав дверь, соседи дозваниваются до милиции, больше терпеть не намерены, все, собаки ей дороже людей, гуманистка, себя во что превратила, это дело ее, но вонь растекается через стены, а теперь еще и это... вонь, вой, гул...

\* \* \*

Расползается, исчезает... не ухватить, не удержать. Перешепоты перестука. Я не видел, но знаю. Откуда это? Не видел, но знаю. Спор футбольных болельщиков на дворовой скамейке. За что он назначил пенальти? Ничего же не было. Была подножка в штрафной. Какая подножка? Откровенная симуляция. Ты же не видел. А ты, что ли, видел? По радио говорили. Слушай другое радио. Страстный диспут слепых. Отблескивают непрозрачно очки, ладони скрещены на палках, подбородки в седой щетине вскинута к отсутствующим небесам, слух напряжен, бескровные лица. Не обязательно видеть, чтобы переживать, азартно обсуждать репортажи, мнения, слухи, передвижения по возникающей из себя самой таблице. Что переживаешь, то становится реальностью.

\* \* \*

Пронесло, возвращаешься непонятно откуда с чувством странного головокружения. Стало с некоторых пор повторяться, особенно после маминой болезни, когда словно вдруг обновились чувства. Готов, кажется, понять, увидеть – явственно, достоверно. Все-таки, значит, способен. Увидеть больше, чем показывают. Не удастся лишь закрепить, выразить... растворяется, тает. Глаза снова открыты. Непроницаемые затылки, недоступные, замкнутые миры, взгляд упирается в плешь слепца. Смотри, что видишь. Ощущение потери, несостоявшегося события. Утерянного или еще не найденного? Еще не созданного. Мчимся в общей тесноте, куда несет, не выскочишь, привычный воздух не пахнет. Нам мерещится возможность чего-то более полноценного, чем беспамятная повседневность, говорил ты женщине, еще совсем незнакомой, вы вместе шли из больницы, где возвращалась к жизни мама, и ты сам, казалось, стал заново ощущать жизнь, не удавалось совпасть шагом, а ты философствовал, как будто хотел не просто произвести впечатление – удержать ее словами, чтобы не исчезла вместе с оживавшими вокруг запахами. Жизнь, которую мы создаем для себя, для других – назовем это работой воображения. Все это умеют по-разному, но без этого не ощутить себя живущим по-настоящему. Утраченное и не созданное одинаково не существуют. Вот, едешь сейчас участвовать в программе... как она называется? «Расширение реальности»? Или «Реальность для всех»? Надо будет еще уточнить.

## 2. Гримасы воображения

Было так: ему представилась однажды возможность подрабатывать, участвуя в платных опросах. Халява нового времени: маркетинговые компании выясняли отношение потребителей к продукции фирм. Надо было пробовать разные сорта пива или супы быстрого приготовления, оценивать качества, отвечать по анкетным пунктам, как ты часто их потребляешь, что тебе в них нравится, какие есть пожелания. Непыльный до бесстыдства заработок, литература теперь так не кормила. Популярный еженедельник, в котором Борис Мукасей больше года вел постоянную колонку о том о сем, лопнул вместе с бизнесом спонсора. Искать новое место Борис медлил, пока еще оставались деньги. Перечитывать собственные недавние словеса стало вдруг как-то противно: все равно, что жевать покрашенную в цвет травы стружку. Знакомых он предпочитал избегать, знал, что за ним утверждается репутация то ли чистоплюя, расслабленного недолгим успехом, то ли, скорей, исписавшегося лентяя, из тех, что оправдывают свою неспособность идейной брезгливостью. Такой был этап самоочувствия.

Платные опросы устраивали Мукасея тем, что не имели отношения к литературе, тут было не зазорно лукавить. Насчет подлинной цены своих стараний он не обольщался, гладкие мальчишки из компании подсказывали ответы достаточно откровенно: пиво он пьет не меньше двух раз в неделю, предпочитает «Балтику», из бульонных кубиков – «Магги». Сам-то он пивом давно не увлекался, предпочитал вино. Впечатления было не так уж трудно изображать. Литературный инстинкт между тем не совсем, оказывается, уснул. Нечаянно шевельнулся однажды сюжет о человеке, который ухитрялся зарабатывать такими опросами, вообще не различая вкусы и запахи, с этого началась его фантастическая карьера в рекламном бизнесе. Повествование можно было вести от первого лица, но Борису показалось, что-то удастся лучше понять, почувствовать, если передать собственные мысли постороннему персонажу: проще было ничего не скрывать от себя самого, наоборот, откровенничать до распахнутости, до несправедливого к себе преувеличения.

Похоже, он не совсем осмотрительно стал словно бы на пробу, перед зеркалом, строить рожи своему воображению. Слишком сумел, как сказали бы люди театра, вжиться в образ? Если бы просто так! Его навещало иногда чувство – и он об этом уже писал – что игры ума бывают не совсем безобидны, они норовят то и дело материализоваться, с ними надо быть осторожней. Вот и тут, прислушиваясь к себе, Борис в самом деле начинал замечать за собой какую-то нарастающую нечувствительность. Такое бывает при насморке, но сопливый нос был бы замечен, его бы от кормушки прогнали. Теперь ощущения все чаще приходилось попросту сочинять – по воспоминаниям или догадке. Вынужденная наглость оказалась сродни вдохновению, деньги были нужны, фирмачи оставались довольны. Искренность их интересовала меньше всего.

Что-то в устройстве организма сыграло с Борисом злую шутку. Денежная халява закончилась, а вкусы и запахи для него, оказывается, совсем перестали существовать. Как будто начисто атрофировались, онемели пупырышки на языке, нервные окончания в ноздрах. Безразличной стала еда – жевал по привычке, едва замечая, сосиски или что там еще, неизвестно из чего, неважно, приходилось довольствоваться чувством тяжести в желудке и считать это насыщением. Да если бы только еда! Исчезла тяга к удовольствиям, развлечениям, женщины не вызвали неподдельного природного интереса – умственные воспоминания, инерция разглядывания, не более. Это при затынувшемся-то после второго развода безбабье!

Назвать ли это утратой вкуса к жизни? Он еще не принимал случившегося всерьез. Временный сбой, недоразумение, наладится само собой, можно поискать способ. Карьерные фантазии к себе он мог только примерить, увы, не те были способности. Борис попробовал вместе с героем смотреть по телевизору кулинарные передачи, однако сцены сервированного чревоуго-

дия, улыбки рекламного наслаждения (воздыхание, взгляд к небесам, кончик влажного языка по губам) не вызывали ответных чувств, даже малейшего слюноотделения. Так ведь и кадры вэправдашних страшных событий давно не вызывали никаких чувств, констатировал попутно герой. Можно было за ужином сколько угодно лицезреть катастрофы, пожары, изуродованные, окровавленные, обугленные трупы, и это не портило аппетита. Когда он еще был. Вот если бы в катастрофу попал кто-то из близких? – примеривал Мукасей литературное разрешение – и подбирали слова про кислый привкус залитых водой головешек, который должен же был вот-вот ожить в слюне, про запах бензина, растекшегося по асфальту среди пятен крови... Увы, слова все никак не соединялись ни с чем, что можно было вдохнуть, пережить.

Он начинал не на шутку нервничать. От мысли обратиться все же к врачу отвлекла внезапная болезнь мамы. Навестив ее за два дня до инсульта, Борис застал в доме непонятного гостя. Под мятым нечистым пиджаком ветхая шерстяная кофта, на ногах почти новые голубые кроссовки – такие можно подобрать у мусорных ящиков. Щеки в седой щетине, готовый стать неряшливой бородой, пористый нос, воспаленные влажные ноздри, нижняя губа обвисла, гречишная россыпь на руках вызвала мысль о не вполне проявленном шрифте, на правой руке не хватало указательного пальца. Старик уже успел захмелеть – мама зачем-то выставила на стол заветный семейный лафитник, всегда держала его заполненным на всякий случай, для сыновей. Навстречу вошедшему Борису с трудом встал, потянулся облобызывать, пошатнулся (тот успел уклониться), осел на стул, едва не утерев равновесие. Сынок, забормотал, засмеялся рассыпчато, сипло, сынок. Я же тебя никогда не видел.

Мама переводила взгляд с одного на другого, растерянная, ошеломленная. До Бориса постепенно дошло: это был давний знакомый отца, выступал с ним когда-то на эстраде. Отец исчез еще до его рождения, бесследно, мама продолжала верить, что тот рано или поздно вернется, не с гастролей, из какой-то командировки, секретной, он обещал, а его слова были не просто обещанием, он заранее все знал, только не всегда говорил. Это был ее многолетний, пожизненный сдвиг, объяснять ей невозможность возвращения спустя почти полвека было бесполезно, она сама вслух об этом уже не заговаривала, знала, какое производит впечатление, в остальном держалась вполне адекватно. Теперь пришелец из давнего прошлого, похоже, вновь смутил ее бедный ум. В бутылке из-под кефира пыталась ожить уже поникшая белая роза, гость увидел ее по пути, за стеклом цветочного магазина, продавщица отвлеклась, не заметила, когда он вошел, вынул из вазы без спроса, она вдруг стала орать на него так, что он от неожиданности стебель слегка надломил, немного, да? Уплатить он, конечно, не мог, а главное, объяснить этой дуре, почему ему роза так оказалась нужна, хорошо, хоть в милиции поняли, не стали у него отнимать, там же не идиоты, чтобы возиться с больным, отпустили. Забыл, как эта болезнь называется, неважно, что-то сделали с моей памятью, врачи, я знаю, кто? целый научный институт занимался моими мозгами, но ведь доехал, как видишь, до Москвы – и тут опять отключилось, погасло, как зовут маму, зачем приехал в незнакомый город. Никакой врач не объяснит, что и как переключается у некоторых в мозгу. Это чудо, что увидел розу, вдруг вспомнил, как тебе приносил такую, да, Роза? имя вспомнил, потом улицу, то есть дорогу даже не вспоминал, ноги нашли сами, у них, у ног, наверно, своя память, осталось только узнать дом, эту комнату, даже этот зеленый лафитник... все начало оживать... сынок, снова тянулся бессмысленно. Старик был явно тронутый, не просто пьян. Но самое-то главное, дошел он, наконец, до главного, я маме уже рассказывал, вот в чем действительно идиотизм, в чем смех или горе, он поехал сюда, в Москву, чтобы показать Розе тетрадку, на которой все успел записать для памяти, пока не забыл, теперь своими словами он ничего пересказать не мог, потому что надолго не запоминал, и вот все как будто растаяло – оказалось, что тетрадки-то у него с собой нет, главное забыл взять, оставил, наверно, на столе, хорошо если не потерял, вот что такое память больного идиота. Был такой анекдот, как он начинался?..



Борис скоро перестал вникать в эту многословную невнятицу, для него все отчетливей прояснялось, что заблудившийся в памяти бедолага уже настроился здесь у мамы и задержаться, заночевать, а там, может, и остаться, другого выхода он не знал, уехать без денег не мог, еврейская женщина не прогонит. Так прямо он этого не говорил, он вообще ничего не говорил связно. Вдруг засмеялся – вспомнил все-таки анекдот. Анекдоты почему-то он помнил. Больные договорились бежать из сумасшедшего дома, все продумали, приготовили веревки, чтобы перелезть через высокий забор, утром один смотрит в окно и кричит: побег отменяется, забор снесли. Смешно, да? Анекдот помню, а главное забыл. Что теперь делать? Вернуться за своей тетрадкой, подсказал Борис. Ну да, а денег на обратный билет нет, засмеялся опять пьяненько, еще не оценил, что сказанное было всерьез, это называется еврейский юмор, сюда приехал, а вернуться нет денег...

Борис как раз шел к маме с деньгами, поспешил воспользоваться поводом, чтобы избавиться ее от безумного, тягостного вторжения, тотчас предложил старику на билет, если ему нужно вернуться к себе, ведь нужно, да? сейчас позвоним на вокзал, вдруг есть билеты, зачем медлить, пока я свободен, а деньги, вот, хватит, если надо, в оба конца, с запасом, да не беспокойтесь, отдадите потом. На какой вам вокзал?..

В памяти почему-то остался прощальный, непонимающий, просительный взгляд мамы: ты что, его уводишь? Сделано было, конечно, грубовато, ближайший поезд, как выяснилось, отходил через два с половиной часа, билеты в кассе были, не курортный сезон, он вызвался тут же сам старика проводить. А чего бы она хотела другого? Чтобы этот умственный инвалид у нее остался? Он сам бы не ушел, не смог, и что дальше? Растянутый абсурд трудней оборвать, он всех начинает затягивать, как пьяный разговор начинает затягивать трезвого, противопоставлять ему другую логику так же бессмысленно, как распутывать безнадежные узлы – их можно только рассечь.

Борис, надо сказать, исполнил все честно, оказал, если угодно, социальную помощь, ни в чем не мог себя упрекнуть. (Мысль о возможности пристроить беднягу в какое-нибудь специальное заведение пришла уже задним числом, но ведь где-то он жил, лучше было вернуться к себе, в обжитое теплое место, чем в сомнительную богадельню, а скорей в скорбное медицинское учреждение, с неизвестными последствиями, да представить себе затяжные хлопоты!) Взял на плечо замызганный рюкзак старика, мама наспех напихала в него продуктов, вышел с ним вместе на улицу, осторожно временами поддерживая, чтоб не упал. Хорошо, что запахов он тогда не чувствовал, мог только представить, как несло от этого бомжа мочой, грязным прокисшим потом, но вести его под руку все-таки брезговал (могли быть и вши), пропускал мимо ушей попытки невнятного разговора, поддакивал автоматически. Там, в тетрадке, все записано, ты увидишь. Мне вредно пить, у меня в голове стало путаться. Главное, что уже все написано. Этого не перекачать по проводам из мозга в мозг, как они думали, или по каким-то волнам. Они там искали способ вывести породу счастливых идиотов. Знаешь, как у нас дятла скрестили со слоном? В насекомых попасть не может, зато деревья валит с одного удара. А? – посмотрел торжествующе. Анекдоты помню, а что надо, забываю. Вдруг, остановившись, стал бормотать, что поезда в ту сторону, кажется, давно не ходят, рельсы заросли бурьяном. Куда в ту сторону? Сюда же вы доехали? – не стал прояснять невнятицу Борис. Доехал, да, вынужден был подтвердить старик. И внезапно замкнулся, сник, череп прикрыт серой лыжной шапочкой. Как будто, ощутив непреклонность тона, вспомнил про самолюбие. На вокзале Борис довел его прямо до кассы, вызвался купить для него билет сам, но тот его сухо отстранил, сунул в окошко взятые у Бориса деньги. Такой станции нет, услышал Борис, деликатно, а впрочем, безразлично стоя в сторонке. Как же нет, сейчас покажу... старик стал искать по карманам, извлек какую-то мятую бумажку. С поездом и впрямь повезло, не пришлось долго ждать, завел старика прямо в вагон. Тот попрощался холодно, за руку, словно совсем протрезвел (пальцы

вялые, неживые). Денег Борис ему дал щедро, не поскупился, мог потом честно отчитаться перед мамой по телефону.

Почему же оставался осадок, будто сделано было что-то не так? Словно чего-то не почувствовал, не постарался внимательней задержаться, вникнуть в хмельную невнятицу. А во что тут вникать, отвечал сам себе – или какому-то постороннему голосу, без окраски и тембра, но, впрочем, похожему на свой, когда становился слегка насмешливым. – Мог бы расспросить по пути про отца, ты же про него почти ничего не знаешь. А они ведь были близко знакомы, вместе выступали. – Шевельнулась такая мысль, да. Но чего можно ждать от сдвинутой памяти? Опять слушать бред про тетрадку, без которой ничего не вспомнить? Пустое дело. – Как знать, как знать? Ты когда-то был любопытней. Не нашлось желания, не захотелось лишних хлопот. Какую, кстати, бумажку он сунул в окно? Теперь ведь нужен паспорт, не поинтересовался? – Какая, в конце концов, разница? – Вот, вот. Еще и эта способность онемела, как при наркозе...

Голос стихал, растворялся вместе с очертаниями комнаты. Бесшумно обваливалась стена незнакомого дома, открывая жилые ячейки, ветер гнал по мостовой бумажные листы, никак было их не удержать, не поймать... Закатное солнце прорвалось в окно, ослепило... все опять исчезло, не объясненное...

Если б только он мог потом без сомнений ответить, что мамин insult никак не был связан не просто с неточным поступком, с нелепым, болезненным недоразумением – с каким-то движением мысли, недодуманным, непозволительным, произвольным!

### 3. Свой воздух

Из приемного отделения Розалию Львовну по недосмотру сыновей сунули сразу в какую-то жуткую палату для безнадежных. Не прорвались за каталкой скорой помощи дальше, смутились медицинского запрета, доверились белым, но, впрочем, теперь больше голубым халатам, буркающим отговоркам профессионалов, а скорей всего, от растерянности не уловили, не поняли беззвучного намека, без слов, без откровенного мусоления пальцев. Остаточная советская наивность, назовем ее интеллигентской, опыт еще не был накоплен. Еще не имели дела с больницей, где постельное белье полагалось приносить из дома и лекарства покупать за свой счет. Пришлось запоздало похлопотать и потратиться, чтобы ее перевели из этого вонючего преддверья мертвецкой, как выразился брат Бориса, Ефим. Сам Борис, исполняя долг бесполезного дежурства у маминой постели, не чувствовал вообще ничего. Если бы только вони – хуже: ужаса близкого, почти неизбежного исхода. Когда-то сам ожидал на каталке в приемном покое «скорой помощи», пока врачи им займутся, и человек на каталке рядом говорил неизвестно кому, сам себе или ему: а я, может, не хочу, чтобы меня лечили. Мне, может, хватит, пожил. Еще не старый, лет пятидесяти, подобрали на улице без сознания. А он, Борис, стал убеждать, что так неправильно, нельзя, надо сопротивляться, оставалось только объяснить, зачем. Эта безвольная готовность заранее примириться с потерей, признавал он, сродни безразличию – той же бесчувственности, она обесценивала, обескровливала саму жизнь: что же в ней ценить, за что держаться, если оказывается все равно? Невнятное мычание с соседней кровати, бесформенное тело слабо шевелится под запачканной простыней, другое тело, у стены, уже неподвижное, громоздкое, укрыто с головой, вошедшие санитары перекладывают его на тележку, натужно крикая, словно тело прямо в их руках тяжелело, рыхлая нога в желто-синих пятнах, не удержавшись, свесилась, выпросталась из-под простыни. Кто жив, тот чувствует, а кто уже не чувствует... нет, не так, это еще раньше надо было убрать, заменить, ведь можно. Кто-то, пользуясь его головой, перебирал вместо мыслей чужие слова или строчки, не то, все было не о том, не так сочинил, не так подумал, не вычеркнул вовремя, теперь поздно.

Мама, однако, сверх ожиданий пошла на поправку, удивив больше всего врачей; один из них сказал даже про чудо. Почти восстановилась речь, и лицо ожило. Сама Розалия Львовна

медицинским чудом это бы не назвала, она про себя знала другое, только не говорила вслух, чувствовала, что о ней думают. Сдвиг сознания время от времени все же давал себя знать. Однажды спросила ни с того ни с сего: Дан еще не вернулся? Борис подумал, что она спрашивает об отце, Данииле. Все тот же заскок. Ты же обещал, что он вернется. Нет, оказалось, она спрашивала о том бедняге. Перепутала имя, все путалось в этой бедной головке. Он заверил, что дал старику достаточно денег, должно хватить и на обратную дорогу. Мама с готовностью успокоилась. Вдруг стала нахваливать здешнюю массажистку, эта женщина еще оставалась в палате, когда Борис пришел.

– Посмотри на нее. Волшебница, – говорила трудным полупшепотом, показывая на нее глазами. Та уже собиралась уходить, улыбнулась, обернувшись от двери. На вид немного за тридцать, не более сорока, тонкое лицо с втянутыми уголками рта казалось не смуглым, а загорелым. Белый халат и шапочка не давали разглядеть ее толком. – Ты видел? Это волшебница, – преодолевая остаточное затруднение речи, повторила Розалия Львовна, когда она вышла. – От ее пальцев теплый ветерок, с иголочками. Они еще не прикасаются, а я начинаю себя чувствовать.

Глаза, еще недавно погасшие, живо блеснули, в сморщенном маленьком лице проявились черты девочки-подростка. Борис согласно кивал, не вникая – надо было справиться с комком, внезапно подступившим к горлу.

– Она приносит в палату свой воздух. До сих пор еще держится. Ты подыши... вдохни глубже... чувствуешь?

Он послушно вдохнул – и его ноздрей, неба, гортани коснулся оживший вдруг воздух. Он был настоян на выделениях страдающей горестной плоти, на запахах дезинфекции и лекарств – никогда еще они не были для него так волнующе полноценны. Чувство нежности, жалости, благодарности непонятно кому за неправдоподобное возвращение после уже – не пережитого – принятого к сведению конца, а еще как будто смутной вины переполняло его, и подступало уже не к горлу – к глазам.

## 4. Вообразите меня

Он дожидался ее у больничного корпуса. Прогуливался взад-вперед по асфальтированной дорожке, провожая взглядом очередного посетителя с полупрозрачным пакетом. Фантазию незачем было напрягать, угадывались апельсины – ритуальное здешнее приношение, сам только что нес маме такие же, было что-то еще домашнее, в промасленной бумаге. Из подъезда выходила служительница в куртке, накинутой на плечи поверх голубой униформы, семенила в сторону соседнего корпуса. Задержалась на крыльце женщина, отбывшая скорбное свидание, отирала напоследок глаза и сморкалась в повлажневший платочек для окончательного освобождения. Голуби нехотя уступали дорогу полуботинкам, возвращались доклевать что-то, не разглядишь с высоты роста (и воробьи уже опередили), набросал ли кто съедобные крохи, пренебрегая запретом на антисанитарию, возникала ли пища на серой тверди, самозарождаясь, иначе откуда жизнь. Возникал, проявлялся не существовавший только что для взгляда муравей и тут же исчезал в точечном отверстии, за которым подразумевалось пространство, способное вместить целое племя таких же, с потомством, пусть в виде желтоватых мягких яиц. Возвращалась в безразличное еще недавно измерение никуда, впрочем, не исчезающая жизнь, пустота наполнялась подробным ее веществом – потому ли, что он дожидался женщину?

Изображать случайную встречу не пришлось, и зачем, невелика дипломатия. Была середина весны, когда березы исходят соком, а верба покрывается пушистыми барашками. Она шла рядом с ним медленно, улыбочиво шурясь и чуть приподняв подбородок – подставляя лицо слабому апрельскому солнцу. Ее звали Анита. Шапочка теперь не прикрывала ее волос, уложенных на затылке простым узлом, он увидел, что они были двухцветные, выгоревшие.

– По вам сразу видно, вы из южных мест, – пристраивался к ее шагу Борис. – Соскучились по солнцу. Для южанки нищая подачка. Но слишком не увлекайтесь, доверчивого оно может обжечь.

Женщина повернула к нему улыбающееся солнцу лицо.

– Розалия Львовна говорила, что вы похожи на вашего отца, – сказала вдруг. – Он при первой встрече сам рассказал ей про нее все, как будто знал.

А, вот оно как! Значит, мама и его ей нахваливала.

– Маму надо слушать с поправками, она живет в своем мире, – усмехнулся. – Отец был эстрадный артист, выступал с эффектными номерами. Находил спрятанные вещи, угадывал мысли. Это называлось психологические опыты. Когда я родился, его уже не было. Я пытался кое-что представить по маминым рассказам, по фотографиям, по газетам, почти ничего не осталось. Сочинить, если угодно. Это ведь мое занятие – сочинять, может, мама и это вам про меня рассказала. (Рассказала, конечно, подтвердил насмешливый голос, она сыном гордится.) У отца были особые способности, я могу только вообразить. Мы все, если угодно, по-своему сочиняем друг друга. Если подумать. Вот я смотрю на вас, слушаю, и вы для меня начинаете проявляться. Пока лишь контурами, неясными, надо их постепенно заполнять. Как вообще можно знать другого? Проникнуть в его жизнь, мысли, воспоминания, сны? Без воображения не обойтись. Дело в желании, в способностях. Чтобы по-настоящему понять, почувствовать друг друга, нам, может, не хватает воображения.

Он сам с интересом вслушивался в свой экспромт. Чего это я так разошелся? – подумал с усмешкой. Захотелось охмурить отнюдь не юную, тихую женщину. Массажистку. Или она не просто массажистка? Так напряженно слушает, чуть приоткрыв рот.

– Хотите, я сейчас расскажу вам про вас? – вдохновлялся он. – Может, у меня и вправду есть что-то наследственное. Иногда кажется.

Она вскинула на него странный взгляд, покачала медленно головой.

– Нет, – улыбка сошла с ее лица. Что-то было в этом лице, вглядывался Борис и не мог сказать, что. – Не надо, – повторила совсем тихо.

– А! – с готовностью подхватил он. – Тоже еще вопрос, хочет ли человек на самом деле по-настоящему все знать? О другом, о себе? О себе, скажет, я знаю. Но если только начнет вникать, углубляться – опомнится. Лучше, скажет, не надо.

Он мысленно опять усмехнулся: рассказать ей сейчас, что произошло недавно с ним, с его обонянием, когда она выходила из маминой палаты, почему захотел дождаться ее? Удержался. Еще сам не понял, что это было. Как будто испытал на себе что-то рискованное, обошлось. Может быть, потом. Если будет это потом.

– У меня остался не дописанным один рассказ, – увел он разговор в сторону. – Про кинорежиссера, он задумал фильм, который хочет снимать скрытой камерой. Сценарий еще не до конца прояснен, он будет складываться в процессе. Участники не должны чувствовать себя исполнителями, они о съемках не подозревают, живут обычной жизнью. Между тем сам он не подозревает, что кто-то в процессе работы уже снимает его, неожиданно втягивается в действие, как участник чужого сюжета. Считает себя вроде автором, но, оказывается, сам до сих пор не понимает ни происходящего, ни самого себя, своей роли, чем дальше, тем больше оказывается бессильным, беспомощным персонажем. Развитие событий запущено, и он уже не может с ним совладать, обречен в конце концов стать жертвой...

Ему пришлось остановиться, потому что остановилась Анита, внезапно, не перейдя до конца дорогу, подняла к нему лицо, вдруг побледневшее. Он увидел уставленные на себя зрачки, они были расширены, и в них расширялся отсвет неба, заполнял, становился отражением белой стены, из черного пролома прорастала неудержимая зелень. Низко над землей летела толстая пестрая птица, проливая за собой пунктирную красную ленту, вдоль дороги

полыхали олеандры и розы, брызнули от круглого отверстия трещины по стеклу, окрашенному в цвет огня...

Сигнал машины заставил их отскочить с мостовой на тротуар. Борис опомнился, мотнул головой, стряхивая видение.

– Откуда вы это знаете? – спросила тихо она.

– Что? – переспросил Борис.

– Про кинорежиссера... про скрытую камеру. У вас и вправду есть такой рассказ?

– А!.. Говорю же, еще не дописал, только померещилось. Там в сюжете возникал еще один мужчина, женщина между ними. На женщину воображения пока не хватило. А почему вы... Да нет, не слушайте меня, – качнул головой, окончательно отгоняя видение. – Обычное сочинительство.

Они все еще стояли, не возобновляя движения. Анита не отрывала от него взгляд, глаза были широко раскрыты. Он увидел, что они скорей серые, чем карие, увидел заново тонкий очерк лица, оно странно помолодело.

– Вообразите меня, – сказала вдруг все еще без улыбки.

Они шли по улице, и Борис с обновленным, забытым наслаждением вбирал в себя запахи свежей прохлады, подсыхающей весенней пыли, выхлопных газов от редких здесь машин, шли, не замечая трамвайных остановок, да и людей, на оживающем асфальте кто-то оставил призыв: «Лелик, я хочу к тебе», проступали чертежи давно забытых, казалось, игр, Анита, смеясь, перепрыгивала по квадратам, на одной ноге, на другой, а он распускал перед женщиной павлиний хвост завлекающего красноречия, чувствуя, что какой-то поворот сюжета сам собой завершается, оставшись до конца не осмысленным, перетекает в следующую главу.

## 5. Тела из чулана

Когда Анита переехала к Борису, он удивился ее небольшому старомодному чемодану. Как будто она переселялась к нему не окончательно, на пробу, все более основательное оставив в местах своего прежнего квартирования. Под твердой открытой крышкой, среди откинутого белья, он мимоходом увидел пластинку, самодельный конверт из грубой бумаги был надорван, отблескивал черный край утолщенного, даже на взгляд тяжелого, старинного диска.

– У меня такие пластинки не на чем прослушивать, – хмыкнул извинительно. – Был старый проигрыватель, но он давно сломался, а в починку такой антиквариат теперь не принимают.

– Не обязательно, – сказала она. – Мне это не обязательно.

По тону он ощутил, что замечать что-то в чужом чемодане, даже нечаянно, было бестактностью, надо бы промолчать. Что-то памятное, семейное, подумал про себя, но вслух ничего произносить не стал. Задавать ей вопросы вообще не стоило, он это быстро понял – инстинктивно замыкались створки, замолкала без объяснений. Потом открывалось что-то само собой, помимо стараний. Драма беженки, изгнанной из искореженного войной зеленого приморского рая, обитательницы вокзальных отстойников (кучи ветоши или тела на полу, на скамейках, пеленки сушатся на батареях, запах детской мочи, разогретых в кипятильнике консервов, женская уязвимость перед прилипчивым взглядом, перед человеком в форме – как откупиться, укрыться?), поиски пропитания, устройства в чужом, безразмерном, чрезмерном городе. И намеком – неизвестное потрясение, чья-то, возможно, гибель или не просто гибель, этой раны касаться было нельзя, не затянулась. О прежней жизни, о работе в каком-то биологическом институте вообще рассказывать, вспоминать не хотела – отрезано, приходилось довольствоваться догадками.

Даже хмель не делал ее разговорчивей. Когда Борис впервые поставил на стол вино, молдавское «Мерло», недорогое, но вполне приличное, она, чуть пригубив, рюмку отставила.

Он подумал, что она вообще из непьющих, но вино она, оказывается, очень даже любила. Это, сказала, не настоящее. Я от такого болею. И на другой день принесла бутылку сама, без этикетки, рыночного разлива, вино показалось Борису недостаточно сухим, но так действительно неплохое, свежее. На рынке же она покупала и мясо, и другие продукты, не считаясь с ценой, практика частной массажистки, сверх больничной работы, давала достаточный заработок. Ненастоящим у нее называлось неопределенно все, что могло вызвать не вполне понятную, прихотливую аллергию, астматическое задыхание, кашель, зудящие пятна на коже. Может, потому она совершенно не пользовалась косметикой, да кожа ее была и так от природы ровная, губы вполне яркие, черные длинные ресницы не нуждались в туши. Между тем пыль на книжных полках, заменявших в доме у Бориса стены, ее дыханию не мешала. Ей у него понравилось сверх ожиданий, она хорошо чувствовала себя в этом жилище, давно не знавшем ремонта, сборная, но по-своему стильная мебель, разнородные, купленные по случаю вещи были родственны ее провинциальной старомодности. «Я так всегда хотела: наращивать обстановку вокруг себя, как раковину, своей внутренней химией, по своей мерке».

Дома Анита бывала мало, практика у нее ширилась, без выходных, возвращалась обычно совсем вечером. Она и Розалию Львовну продолжала навещать. Мама, похоже, об их отношениях знала. Когда она по телефону рассказывала сыну о визитах Аниты, в ее голосе проступали интонации заинтересованной свахи. Борис знал, она переживала, что он уже скоро под пятьдесят оставался один, без семьи. А ведь сама когда-то не приняла обеих его жен и потом по возможности отваживала недолгих сожительниц. Может, теперь ее, помимо всего, прельщала возможность заполучить в семью постоянную массажистку, думал он с неясной усмешкой.

Что-то оставалось необъясненным, недоговоренным в самом их стремительном, почти мгновенном сближении. Неожиданной оказалась какая-то невзрослая, застенчивая, потом почти лихорадочная ее взволнованность. Сам он успел забыть, что такое бывает – да может, такого у него и не было. Ему ответную взволнованность приходилось изображать, он поневоле от нее заражался. Когда Анита впервые распустила волосы, они оказались волнистыми, длинными, лицо могло меняться неуловимо. Ничто не шевельнулось, не сдвинулись уголки губ, они еще изображают улыбку – и вдруг гаснет, стареет, куда-то ушло живое сияние глаз, только умом понимаешь, что лицо то же, не восстановишь.

Борис с этой женщиной порой ощущал в себе странную напряженность. От забот о заработке он неожиданно оказался избавлен, освободилось время для работы, но сознание денежной зависимости для мужского самолюбия оказывалось неудобно. Он несколько напрягся, когда Анита брала с полки его книгу, поглядывал искоса, в профиль, на нее, читающую, пытаясь представить свой текст ее взглядом. Читала она понемногу, медленно – не увлекалась, значит, отмечал он про себя, но немногословные отзывы потом заставляли подумать, что о таком внимательном чтении можно было только мечтать. Неожиданными оказались ее слова о повести «Хранитель». Там старый, больной философ, чудом выживший лагерник, у которого погибли, оказались уничтожены неопубликованные рукописи, труды всей жизни, перед смертью размышляет об измерении, где должны же сохраняться идеи, мысли, даже нигде не записанные, о возможности хоть когда-нибудь проявить их. Это фантазия о бессмертии, сказала Анита. Они с ней уже сидели на кухне, раскупорили бутылку. Да, именно, с готовностью откликнулся Борис. О бессмертии, если угодно, о смысле жизни или ее бессмысленности. Каждый однажды задумывается над этим, как же без этого? Не все ведь гении, не всем дано оставить после себя творения, музыку, изобретение, хотя бы построенный дом, чтобы пусть не на века, пусть ненадолго, но как-то обозначить свое существование, не совсем, не сразу исчезнуть. Дети, сказала тихо Анита, не сводя с него глаз. Остаются дети. Да, рассеянно согласился Борис, это конечно. Дети. Но и с ними то же, и они уйдут. Если прожитая жизнь никак не запечатлена – неужели совсем бесследно? Наше тепло, дыхание, выделенная энергия – они ведь что-

то меняют в воздухе, в мире, пусть неощутимо, на миллионные доли градуса, поддерживают общее тепло. А были же мысли, чувства, любовь, память...

Молчаливость женщины заставляла его говорить больше, чем он собирался, как пустота, которую надо было заполнять. Действительно ли она его понимала? С некоторых пор он крутился вокруг этой темы, о чем бы ни писал. Религиозный ответ не менее условен, чем другие, мучается в той повести философ, образ, идея Бога, посмертной жизни созданы человеком из той же потребности в объяснении. И сам сочиняет фантазию о провинциальном изобретателе, о его приборе или устройстве, способном перевести, как тот выражается, излучения мысли в реальное измерение.

– Ты, наверное, думал об отце, – вдруг сказала Анита. – Это ведь о нем тоже.

Борис не сразу ответил. Этого он не ожидал. Потянулся наполнить рюмки, Анитина осталась не допита, наполнил свою. Конечно, и об отце, он, может, не связывал все прямо. Это же чудовищно, когда от человека остается так мало. Ни бумаг, ни свидетельств, почти ничего, кроме маминых воспоминаний, но много ли та могла рассказать? Человек пуганого поколения, она долго на всякий случай оберегала детей от знания, которое могло бы оказаться для них опасным. Мама действительно считала, что он уехал в какую-то секретную командировку, об этом нельзя было говорить. Однажды она рассказала, как к ним приходил какой-то неизвестный человек, они долго, за полночь, разговаривали с отцом. Мама пробовала слушать из-за прикрытой двери, доходили разрозненные слова, что-то о науке, о каком-то институте, она мало что поняла. При чем тут наука, какое он к ней имел отношение? Она не сомневалась, что этот человек был из органов, но не из простых органов. Если бы отца арестовали – обычная по тем временам история. Не было ни задержания, ни обыска, ничего. Собирался на свои гастроли, ушел в филармонию и не вернулся, исчез по пути. Никаких объяснений. Когда появилась возможность, братья пробовали навести справки в соответствующих учреждениях, никакого отцовского дела нигде не обнаружилось. Мама ведь до сих пор его ждет, иногда разговаривает с ним, это можно считать болезнью.

– Что значит болезнь? – покачала головой Анита. – Он для нее существует. Мы ведь существуем друг для друга не только сейчас, когда сидим и разговариваем. Я ухажу по делам, и ты для меня существуешь. Потому что я о тебе думаю. А я для тебя? Все, о ком ты помнишь, думаешь, о ком пишешь. Этому твоему философу казалось, что он сочинил своего изобретателя. И вдруг оказывается, тот действительно существовал, ведь правда? Удивительно! Ты его так описал, можно увидеть. В черной широкополой шляпе, морщины вокруг печальных глаз. Мысль может угадать, воссоздать настоящее.

Да, да, восхищался Борис, чувствуя, что все больше хмелеет. Неужели она это уловила? Человек, о котором пишешь, становится существующим, больше, чем иные, кто в повседневности отмечается на сетчатке глаз, но и только, взглянуть не пытаешься, проходишь мимо – уже растаял. Создаешь его для себя, для других. И ведь не произвольно, вот что непостижимо. Почему в мозгу вдруг возникает именно это, а не другое? – наливал Борис очередную рюмку себе. – Как будто уже существует где-то. Где? В неосознанной памяти, в каких-то скрытых глубинах, в неизвестном, может быть, космическом измерении? Раньше просто не открывалось, не мог увидеть, услышать. А потом опять закрывается. Как будто не от тебя зависит. У этого философа, ты уловила, бывает странное чувство: вдруг его самого сейчас кто-то сочиняет? Это ведь и мое чувство, со мной тоже бывает. Когда работаю, как будто говорю с кем-то, кто-то подсказывает. Кто-то, знающий пока немногим больше меня, даже меньше, ему через меня нужно что-то выяснить. Как мне самому что-то нужно выяснить через других. О себе самом в том числе. Собственная жизнь оказывается необъяснимо связана с тем, что возникает под пером. Или тот же кинорежиссер из моего сюжета: не подозревал, что его тоже снимают, среди прочих. Это надо не просто додумать, надо во что-то проникнуть.

– Додумай... пожалуйста, – Анита через стол потянулась рукой к его руке, голос ее был необычным – показалась тоже неожиданно захмелевшей. – Дopiши о нем... обо всех... про-  
никни. Я вспоминаю, как сказала тебе: вообрази меня. Не знаю, можно ли объяснить. Чувство,  
что я сама о себе чего-то не знаю... не могу прояснить, осознать. Или не хочу. Может, с тобой...

Прикосновение пальцев отозвалось во всем теле. Заколебались, расплылись, пошли кру-  
гом стены. Оба поднялись, подались куда-то сквозь них, не выбирая дороги, не отрываясь друг  
от друга, свободными руками освобождаясь на ходу от одежды, понесли, поплыли в круго-  
вороте, уже помимо усилий.

– Я думала, ни с кем больше... никогда... – бормотала она, высвобождая на мгновение  
губы. – Ты лечишь меня... я с тобой выздоравливаю.

– От чего? – промычал он без слов, вопросительно.

– Не знаю... От всего... от того, что было... Да... да... вот так... да... лечи... еще...  
еще... еще, – бормотала она, – лечи меня... лечи...

Их опустило на землю, расслабленных, разъединенных, где-то уже не здесь. Разогретый  
воздух колебался, оживлял трепетную поверхность. Проявилась небольшая беленая хибара над  
берегом моря, на стене еще держалась тень когда-то стоявшего здесь дерева. Из-под облезлой  
штукатурки местами выглядывала дранка. После солнца в душных сенях показалось совсем  
темно, свежемые половицы под босыми пятками были прохладны. «На нас кто-то смот-  
рит», – слышался из-за приоткрытой двери узнаваемый женский голос. «Через потолок,  
сверху», – насмешливо ответил другой, по шепоту не понять было, мужской или женский.  
«Нет, подожди, я всерьез, – женщина, похоже, отстраняла кого-то. – Там кто-то есть, настоя-  
щий». Скорей прочь от двери, чтобы тебя не застигли врасплох. За спиной неожиданно распах-  
нулась сама собой, не выдержав напора изнутри, дощатая дверца чулана, из него вывалились  
тела, в камуфляже, полуголые, голые, на них стали проявляться кровоподтеки, раны, рядом с  
одним шмякнулась оторванная рука, еще одна, клочья мяса, белеющая кость...

Она вскочила одновременно с ним.

– Ты что? Тебе что-то приснилось? – спросил он.

– Там был ты? – прошептала она вопросительно, глаза в темноте были огромными. Еще  
не пришла в себя, прижалась к нему, обхватила руками. Он чувствовал всем телом, внутри  
своего тела, как бьется испуганное сердце – оно билось у обоих, надо было слиться вновь,  
чтобы не оставаться потерянными, отдельными.

И снова разъединились, затихли, успокоились, умиротворенные. Борис не мог сказать,  
спал ли он, в полудреме ли, наяву продолжал перебирать, нанизывать слова, строки, их не  
обязательно было писать, они сами собой бежали по дисплею компьютера, возникали от тече-  
ния мысли, становились одновременно событиями жизни, чьей-то, его собственной, доста-  
точно было лишь поправлять, убирать оказавшееся неточным, ощущая приближение послед-  
ней ясности, понимания. Но вытащить с собой из сна удавалось лишь рассыпанную невнятицу.  
Вообрази меня, слабел, становился призрачным голос – все окончательно развеивалось, исче-  
зало.

## 6. Ученик чародея

Направление мыслей неожиданно сбило семейное происшествие. Убежал из дома пле-  
мянник, сын Ефима, Илья, лохматый четырнадцатилетний подросток, строптиво мотавший  
головой, когда мать пыталась причесать его природные кудри, компьютерный вундеркинд. Он  
готовился к каким-то международным соревнованиям в студии молодых гениев, это стоило  
денег, у родителей хватало. Ушел из дома с очередным месячным взносом, но до студии не  
добрался, пропадал второй день неизвестно где. Ефим позвонил брату узнать, не объявился ли  
Илья у него. Позвонил не сразу, на всякий случай, знал, что вероятность невелика, мальчик за



много лет ни разу не бывал у дяди. Когда у Ефимовой жены, Юлианы, разладились отношения со свекровью, она перенесла свою неприязнь на всю родню мужа, целенаправленно и успешно их отдаляла. А сына и отдалять было нечего, безразличен ко всему, кроме своих интеллектуальных игр, и от старших далек, и от сверстников, их кумирами и ансамблями интересовался не больше, чем школьными учебниками, которые давно превзошел. Разве что благоразумно изображал интерес, чтобы не раздражать, не держаться уж совсем чужаком, на это его хватало. Что могло с ним случиться? Найденную на кухонном столе записку пересказывать было незначем, вздернутая подростковая невнятица: не хочу, не могу здесь больше жить, вроде этого. Вспоминалась теперь непонятная подавленность парня, беспричинные истеричные вспышки, и уже наготове слезы, за которые сам себя ненавидел, убегал в свою комнату, чтобы не показывать. Говорить с ним было бесполезно, не скажет. Дети нам лишь кажутся понятными, другое поколение, другой язык, а может, и не только язык, признавал Ефим, доктор физматнаук, растолстевший расслабленный муж при успешной жене, свой престижный диплом и звание вместе с именем предоставил в пользование какому-то ее Глобальному фонду.

И ведь в студии уже волновались. В первый же день, рассказывал брат, позвонил студийный наставник, тренер компьютерных игр. Илья называл его Тим, Тимоти, это имя всегда проносилося восхищенно, так говорят не просто об учителях – о гуру. Почему Ильи не было на занятиях, не случилось ли чего? Ефим не захотел говорить правду, сам еще толком не выяснил, стал наскоро сочинять что-то про загородную родственницу жены, которой надо было срочно отвезти лекарство, у нее Илья, может, и переночует, запоздало извинялся, что не предупредил, думал, сын это сделал сам. Он вначале подумал, не беспокоится ли тот о деньгах, которые не донес Илья, но ведь это была плата вперед, за прошлый месяц с учителем рассчитались. Нет, наставника волновали не деньги, и в больницу тетушку, похоже, не очень поверил. Без Ильи команде лучше не ехать на олимпиаду. «Мне нужен этот мальчик», – даже голос как будто дрогнул. Ефима это растрогало. Неужели самый талантливый? – польщенно при всей тревоге пересказывал он разговор брату.

– А твоя жена, она что, не может определить, где он сейчас? – не удержался от иронии Борис.

Юлиана себя называла профессиональным парапсихологом, экстрасенсом, недостоверная жгучая брюнетка, соответствующие минералы в ушах, на пальцах и шее. Со своим, родственным, особые проблемы, близкое трудней чувствовать, неуверенно передавал ее объяснения Ефим. Термины он повторять не стал, другая наука, пересказывал своими словами, сам смущался, что поделать. Обращаться в милицию родители до сих пор медлили, мог где-то заночевать, теперь, видно, придется. Может, к частному сыщику. Успокаивало тепло, которое испускала под ладонью Юлианы фотография мальчика, позволяло не сомневаться, что он, во всяком случае, жив.

Борис тоже разыскал фотографию племянника в альбоме, рассматривал вместе с Ани-той, она как раз заглянула домой перекусить, среди дня. Белокурый ангелочек шестилетней давности, другой не нашлось. Если наострился куда-то уехать, то не дальше, чем на электричке. Билет дальнего следования такому не продадут, у недоросля еще нет паспорта, теперь нужен ведь паспорт, напомнили не так давно, где это было?.. стоял у кассы с подвыпившим старичком... а был ли у того паспорт, действительно не проследил, отвлекся, пробовал потом вспомнить. Невнятный вокзальный шум, хрипы оповещения, под высокими сводами трепыхается залетевший по дурости голубь, но поклевать здесь найдется чего, только спустись, быстрое питание, одноногие высокие столики, круглые, под мрамор, столешницы, кафе, шаурма, теснота выгородок, киоски, лотки, сувениры, зал игровых автоматов, перемигивание огней, привлекают. Деньги пока есть, не голоден. На электричку спешить незачем, решить бы сначала куда, не приспособлен, надо признать, к бродяжничеству, к автостопам, не те времена, сам не тот, родительский сын, кудри потемнели, лохматые больше прежнего, не на домашней мяг-

кой подушке провел ночь, лицо осунулось, нездоровое, темнота под глазами, но узнать можно, высвечено искусственными сполохами, цветные пятна, расклад карточных мастей сменился, еще сменился, еще, три дамы треф в верхнем ряду, шум уходящего поезда или водопад пластиковых жетонов, не умещаются в жестяном корытце...

– Почему ты прикрыл глаза? – вмешался издали голос Аниты.

– Разве прикрыл? – спохватился Борис. Встряхнул головой. – Так, задумался. Привиделось... сочинялось что-то в уме. Ты же знаешь, со мной бывает. Представилось, как этот парень застрял на вокзале у игровых автоматов...

Она не сводила с него взгляд.

– На каком вокзале?..

Анита заторопилась по своим делам, дела, должно быть, перенесла, отложила или отпросилась, вернулась часа через два вместе с Ильей. Долго искать не пришлось, как будто не сомневалась в направлении, вокзал был ей памятен, до подробностей, прошла медленно, оглядываясь, но уверенно через знакомый зал ожидания, только теперь с другими людьми, другими скамейками, мягкие, порезанные и распотрошенные, заменены пластиковыми, переменились лотки и киоски, до зала игровых автоматов идти не пришлось, обернулась на крики. Мальчика узнала безошибочно, похудевшего, осунувшегося, в несвежей рубашке, без сумки и куртки, он что-то объяснял обступившей его подростковой шпане, хищной стае, отталкивал, срывался, стыдясь своего ломкого, еще не утвердившегося голоса, вовремя поспела. Ей он доверился сразу, хотя незнакомую женщину видел впервые, откликнулся на свое имя, на имя дяди, расслабленно обмяк, позволил себя увести. Найти слова Анита сумела, к дяде он с ней поехать согласился, только домой возвращаться отказался категорически, без объяснений и слез, жестко. По телефону велел отцу привезти из дома компьютер. Ефим стал испуганно отговаривать, слишком окончательным выглядел бы уход, призвал на помощь брата. Борис его поддержал, предложил пользоваться своим, сказал, что ему самому компьютер сейчас не нужен. Илья убедился, что емкостей вполне современного устройства ему достаточно, ограничился дополнительными принадлежностями для своих занятий, продиктовал по телефону список, с пояснениями. Отец привез не одну сумку, нужно было много чего, но когда попытался облобызать отпрыска, тот увернулся. Ефим не знал, как подступиться, заговорить о возможности возвращения.

– О тебе опять спрашивал твой гуру.

– Кто? – вскинулся Илья. – Этот Тимофей? И ты ему меня выдал?

В голосе была такая ярость, что отец поспешил успокоить: нет, нет. Борис вышел проводить брата к машине, тот даже на улице говорил вполголоса: как бы сын не услышал. Растолстевший, размягченный, со шкиперской бородкой. Этот наставник, Тимофей, Тимоти, навещал лично, телефонные объяснения его явно не убедили. Вежливый стройный брюнет лет тридцати, гладко бритые щеки тенора, пук волос на затылке перехвачен аптечной резинкой. И опять не повернулся язык выдать ему семейную правду, пришлось сочинять продолжение про больную тетушку. Тот пропустил объяснения мимо ушей, вслух не среагировал. Ему был нужен Илья. Они вместе разрабатывали какую-то новую ролевою игру, в таком возрасте это, поймите, выход на самостоятельную работу, возможный заработок, мальчик вносит свое, необычное, взрослый так не придумает. Ефим в порыве сочувствия и впрямь едва не проговорился, хотел утешить, что-то удержало. Предложил учителю коньяка, чтобы приободрить, а заодно еще раз услышать похвалу сыну. Тот с единственной рюмки неожиданно размок, размокли яркие влажные губы, и на глазах проступила влага. Он не просто талантлив, он божествен, повторял, прощаясь. Что ты об этом думаешь? – поглядывал Ефим на брата. Расскажи Юлиане, пожал плечами Борис. Сам про нечаянную удачу Аниты подробно распространяться не стал, могло задеть профессиональную ревность невестки. Чутье подсказало или просто повезло, бывает, особенно если ищешь. Брат только разводил руками, действительно, бывает, но все-таки удивительно.

Теперь Илья целые дни проводил в предоставленной ему комнате у Борисова компьютера, тот вынужден был пока обходиться пером и бумагой. Наметившиеся было идеи все равно словно растеклись, побледнели, погасли. Утешительней было объяснять свою неработоспособность вынужденными обстоятельствами. Свои файлы в компьютере не сообразил закрыть от постороннего взгляда, но чего там было таить? Дядины писания были племяннику скучней Льва Толстого. Он выходил из комнаты лишь поесть, угрюмый, неразговорчивый, отключенный. У Бориса не получалось с ним без фальши. Он мог понять Ефима: не просто другой язык – другой мир, нет общих тем, интересов, вкусов. Сам он от детей отвык, да и привыкнуть не успел, свою единственную дочку, почти, можно сказать, не разглядел, первая жена увезла ее, годовалую, в Израиль, потом куда-то в Америку, связь давно прервалась, следы потерял, да и не искал. Уже, считай, взрослая, необразишь, не узнаешь. Случалось иногда на эту тему грустить, не вернешь, как многое в жизни. С маленьким Илюшей когда-то гулял во дворе, вместе с ним удивлялся перевернутым в лужи деревьям, даже в самую небольшую вмещались все ветки, и небо уходило глубоко-глубоко. Чудо! Сам-то давно забыл, как впервые открывается мир гениальному от природы уму, как преображается в нем, становится сказкой. Видишь, это злой трейлер, рисовал ему Илья, эту машину он стукнул, а тут сверху ее сон. Сверху ее сон! Куда девается потом эта детская гениальность вместе со способностью пугаться собственных выдумок, во что превращается? У всех, исключения считанные, и то – исключения ли? Способности, даже незаурядные – это другое. Однажды восьмилетний Илья о чем-то сказал: это не по логике. А что такое логика? – поинтересовался Борис. Логика – это математическая судьба всех вещей. – А что такое математическая судьба? – Понимаешь, есть как бы такие рельсы, и события могут двигаться только по ним. – И это значит судьба? – Нет, судьба – это то, что остается за ними. Родители гордо переглядывались.

А теперь – о чем говорить? Другое, отчужденное состояние, невозможность соприкоснуться. Только с Анитой у Ильи установились какие-то особые отношения, с ней он становился мил, застревал на кухне, учился у нее варить кофе, находилось, о чем болтать.

Она даже стала теперь больше бывать дома – только ли ради Ильи? Что-то новое появилось в ее отношении к Борису после того, как ему пришло на ум, где стоит искать племянника. И ведь сам он не отнесся всерьез к игре своей сочинительской мысли, не более, на вокзал заглянуть подалась Анита, но когда улавливаешь действительно существующее, для отклика, резонанса должно что-то быть внутри, этого не придумаешь. На нее произвело впечатление. Приходила, оживленная, поводила ноздрями, словно к чему-то принюхивалась. Я чувствую, ты сегодня удачно работал? – говорила, целуя Бориса. Какая-то озоновая разрядка чудилась ей в воздухе. Он отмахивался иронично: уж это женское чутье! Работа как раз двигалась туго. Борис пробовал теперь писать не подряд, иногда удавались разрозненные, не до конца ясные эпизоды, так было удобней, когда целое еще не решено. Возникла вдруг полужнакомая в свете керосиновой лампы комната, двое мужчин сидели напротив друг друга, на лбу одного напряглись выпукло жилы, лицо другого побагровело от усилия – поединок неназываемых энергий... разговор, никем до сих пор не услышанный, растворялся в воздухе, оседал частицами на штукатурке потолка, на узорах обоев...

– Нет, у тебя, кажется, возникает настоящее, – целовала снова. – Я шла домой и прислушивалась, что-то происходит, назревает... не знаю, как это выразить. Когда ты думаешь обо мне, я же чувствую... что-то во мне меняется... Ой, какие смешные вещи я говорю, – вдруг прыскала в ладошку, по-девичьи, тыкалась ему лицом в плечо.

Словно помолодела вдруг. Непривычной бывала ее возбужденность. От вина последнее время она стала отказываться, пригубливала немного. Перестало, что ли, нравиться? Но сама же и приносила. Вопрос о самочувствии почему-то вызывал у нее улыбку: ты же видишь. Теперь им надо было ждать, пока Илья закроется у себя, и потом приходилось сдерживаться,

чтобы не слышно было за тонкой стеной, где тем временем происходила своя, неизвестная жизнь, в виртуальном ли пространстве, в реальном?

– С ним что-то творится, – говорила Анита шепотом. – Не знаю, как к нему подступиться. На вокзале у него отобрали все деньги, я видела эту шпану, он действительно что-то выиграл, рассказывать не хочет, и расспрашивать нельзя. Болтаем о пустяках, пусть хоть отвлечется. Сейчас что-то связано для него с новой игрой, он в нее погружен, похоже, не получается. Переживает, даже чертыхается иногда, ты не слышал? Но в играх я совершенно не понимаю. Может, ты попробуешь поговорить?

Молчание в самом деле становилось уже неприятно. За обедом Борис попытался все-таки завести с племянником разговор, поинтересовался, какой игрой он сейчас увлечен. Тот вместо ответа пожал плечами, фыркнул невнятно, Борис покладисто согласился продолжать сам. В играх он не особенно разбирался, пробовал раз-другой, не загорелся. Опоздал, как говорится, к началу. Все эти квесты, без уверенности решил щегольнуть, однако, термином, эти поединки с древними рыцарями, с инопланетными чудовищами, разными гоблинами и троллями показались ему по сути однообразными. Движешься от картинке к картинке, думаешь, перед тобой бесконечные, небывалые варианты. На самом деле только выбираешь, комбинируешь готовое, все ведь заранее для тебя кем-то прописано, правильное решение в финале заложено. Пройдешь до конца, сориентируешься – повторять уже неинтересно.

– А книги перечитывать, что ли, интересно? – в тоне Ильи послышалась насмешка.

– Смотря какие, – осторожно ответил Борис. – Бывает, сколько ни перечитывай – углубляешься заново, словно впервые. Даже в маленькое стихотворение.

– Ну, то стихи, то история. А сейчас ты, когда сочиняешь, разве не знаешь, чем у тебя кончится? От тебя же зависит.

– Не скажи, – откликнулся, помедлив, Борис. (Парень, однако, соображает, отметил про себя.) – До поры сам не всегда поймешь, что получится. У меня сейчас именно так. Персонажи вначале едва намечены, проясняются по ходу развития, набираются самостоятельной жизни, ими не так уж произвольно подвигаешь.

– Думаешь, у нас по-другому? – хмыкнул Илья. – Пока еще в диздоке... ну, это дизайн-документ, так называется, разработка, первоначальные, можно сказать, наброски... тоже не совсем ясно, что хочешь сделать. Проверяешь на пробу. А если работаешь не один, вообще не сам решаешь, что будет дальше, тем более чем кончить. Все эти стрелялки, монстры, инопланетные схватки – это на продажу, развлечения, упражнения для подростков.

(Однако, опять отметил Борис, как он о подростках.)

– Есть игры не для всех, ты не представляешь. В этом мире есть свои гении, они себя не всем показывают, – Илья начинал незаметно вдохновляться. – Один... как бы тебе сказать... геймер... ну, в общем, знакомый специалист... он говорит, что эти рисованные страшилки могут отучить от подлинных чувств, в жизни все интересней, если умеешь увидеть. Он, между прочим, тебя читал, говорит, у тебя кое-что можно использовать. Но не сейчас, сейчас нам это не нужно. Сейчас он предложил сделать вместе с ним игру по Кафке. У него есть такой рассказ, «Нора», ты читал? – задержал на дяде оценивающий взгляд. Борис вскинул бровь, оценил: в таком возрасте Кафка! Не ожидал таких речей от племянника. – Жуткий рассказ, немного, если честно, занудливый, но у него можно взять главное. Там какой-то зверек все время ищет укрытия, роет ходы, делает ложные входы, выстраивает целый лабиринт, целую стратегию. Можно сказать, философию жизни, это я понимаю. Ну, у нас не нора, наш лабиринт особенный, из него действительно не хочется уходить, целый мир, не сравнишь с обычным. Этот наш Сольми... у него есть имя, его зовут Сольми... он прячется, потому что ему не нравится эта фальшь, безликость, общие вкусы. I can't get no satisfaction, знаешь эту песню? Его любимая. И еще Get off of my cloud. Он не хочет быть, как все. Может, ему не хватает смелости, чтобы пробиваться, противостоять, бороться. Только укрыться, спрятаться в мире, который он

сам создает, рисует. Вначале это был крот или кто-то вроде. Но ему и кротом не хочется быть все время. Он хочет чувствовать себя то улиткой в скорлупе, сейчас рыбкой. Мой... ну, этот соавтор, он ведь поэт, не только в стихах, он и песни пишет, и в графике гений, он может что угодно изобразить. Он и для телевидения делает клипы, и для какого-то виртуального центра. Этот зверек – не совсем зверек, у нас он пока еще неизвестно кто, неопределенное существо. Кто его на самом деле преследует, тоже еще не решено, кто-то невидимый или воображаемый? Главное – укрыться, укрыться, тут уже работает гейммеханика. Но сколько можно скрываться, если главное пока не прояснено? А может, бояться на самом деле нечего, наоборот? Может, тот, кого он боится, на самом деле не опасен, он вовсе его не преследует, он его ищет, чтобы открыть, показать ему мир, который тот даже не представляет, зря прячется? Преследователь еще не понятен, может, он тем и опасен, что не столько угрожает, сколько... не знаю, как это сказать... пленяет? Глупое слово, что-то в нем противное... не могу вспомнить другого. Что-то временами возникает, как музыка. Там и музыка вводится. Глядишь, этому Сольми, этому существу в конце концов захочется, чтобы его нашли? И все. Какая тактика окажется выигрышной, а?... Да что я тебе рассказываю?

Племянник вдруг замолчал, уставился мрачно в тарелку. Было похоже, что устыдился, не наговорил ли зря лишнего, открылся нечаянно. На котлете уже застывала белесая пatina жира.

– Значит, пока у вас не решено? – осторожно спросил Борис.

– Если б я знал, как! У Кафки, между прочим, тоже рассказ не закончен. А этот, – движением головы показал неопределенно вбок и вверх, – мне иногда кажется, что он просто не хочет кончать. Ему ведь ничего не стоило бы, он умеет придумывать. Иногда сам показывает мне просмотр, вариант, как еще можно уйти, лишь бы продолжить. Так просто не отстанет. Ему надо, чтобы до решения дошел я сам.

– Ты так серьезно, – качнул головой Борис. – Кафка выхода не подскажет, нашли, у кого искать. У вас всего лишь игра, к ней стоит отнести как к игре. Юмор не помешает. Знаешь, есть сказка про ученика чародея, там ученик думает, что усвоил все заклинания, оказалось, не до конца. А может, как раз и усвоил, захотел освободиться, показать чародею, что теперь он самостоятелен, умеет поколдовать по-своему, если надумает. У тебя ведь теперь появился, наверно, особый опыт, на том же вокзале, ты попробовал такие ходы, куда твой партнер не заглядывал и заглянуть не решится, даже не представляет себе, какие есть заправдашные места, ловушки... Это, впрочем, так... экспромт, – он вдруг почувствовал, что в его словах звучит намек слишком откровенный. – Я по сути не знаю, что такое эти виртуальные, так сказать, норы, в ваших делах не разбираюсь.

Илья задержал на Борисе заинтересованный взгляд, задумчиво хмыкнул:

– Ну ты даешь, Боб. Виртуальные норы...

Вдруг поднялся, сразу стал убирать посуду в мойку, делая разговор завершенным. Борис дотянул со дна остаток кофейной гущи, ушел к себе в комнату. Что-то не так сказал? До него впервые дошло, насколько этот лохматый строптивый подросток близок ему своей обособленностью, нежеланием быть, как все. И уже прикоснулся к какому-то опыту, которого у старшего не было. Стал рассеянно перебирать исчерканные листы, почерк местами оказывался неразборчив. *Реализовать себя в пространстве, которое создаешь для себя сам.*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.